

Павел Басинский

Гражданин Чехов

Минуло сто лет со дня смерти Антона Павловича Чехова.

Вокруг Чехова при жизни сложился миф, который особенно усердно раздували критики, но ему охотно верили и многие читатели, даже поклонники великого писателя. Это миф о якобы «безыдейности» Чехова.

«Рубеж всков» – весьма горячая в общественно-политическом смысле эпоха в России, в чем-то схожая с нашей «перестройкой». И тогда, и сейчас это начало крушения громадной империи. В такие эпохи от писателей ждут высказываний политически определенных. И если они не «соответствуют моменту», то таких писателей немедленно сбрасывают на обочину исторического процесса. Говори то, что нужно!

Сбросить Чехова не удалось. Слишком яркий талант, яркий даже в своих крохотных юмористических миниатюрах, написанных «Антошей Чехонте» в сто строк специально на заказ для «Стрекозы» или «Будильника». Книжка этих маленьких шедевров под названием «Пестрые рассказы» выдержала несколько изданий и расходилась стремительно даже в провинции. И хотя среди этих юморесок встречались вещи очень драматические (например, «Дочь Альбиона»), хотя талант Чехова уже заметили такие старейшины писательского цеха, как Н. С. Лесков и Д. В. Григорович, критика не сразу признала Чехова за «серьезного» писателя. А уж когда признала, то начались и вовсе другие разговоры.

«Певец сумерек»... «хмурых людей»... «лишних людей»... Поразительно, но этот образ отнюдь не противоречил первоначальному образу зубоскала «Антоши Чехонте».

Там, где нет «идей», нет «направления», там только и возможно – либо зубоскальство, либо тоска и пессимизм. Даже проникательный В. В. Розанов писал: «...грустная дума его и тон его полон полужизни. Мерцает, мигает, теплится, но не горит.

И, глядя на это “мигающее”, долго глядя, вдруг преисполняешься мистического страха: “вдруг погаснет”. И кричишь: “Зажигай всё, лучше всё зажигай, нежели эти ужасные темень и хлад, когда вдруг всё погаснет!”»

Ну и – зажгли...

Как-то Чехов со смехом рассказал Ивану Бунину, как Скабичевский писал о нем, что он (Чехов) «умрет пьяным под забором». А. С. Скабичевский – знаменитый в то время критик и публицист, по убеждениям – либерал-народник. «Вы знаете, – ответил

Чехову Бунин, – мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал». «Ну вот, вот, – смеялся Чехов, – а всю жизнь про народ и рассказы из народного быта писал!»

Справедливости ради всё же заметим, что и Чехов, и Бунин были не совсем правы, высмеивая Скабичевского. Образованный человек и неутомимый публицист, историк литературы, он в своей рецензии писал, собственно, не о Чехове, а о судьбе рядового русского журналиста вообще. Черная работа выжимает его, «как лимон», он спивается, вот и... умирает пьяным под забором.

И все-таки поразительно, что такого ясного, простого (в высшем смысле) и необыкновенно отчетливого гения, как Чехов, с какой-то патологической настойчивостью записывали в писатели «неясные», «сумеречные», «бесхребетные». Чехов прожил удивительно яркую, насыщенную, полную трудов и опасностей жизнь. Он с ранних лет и до конца дней держал на своих плечах многочисленную семью, строил школы и больницы, лечил холерных больных, добрался на пароходах и перекладных до Сахалина, вернувшись обратно через Китай, Цейлон и Сингапур (между прочим, привез в Москву неизвестных тогда животных – мангустов), был любим многими женщинами и сам влюблялся, поднял собственное имение в Мелихове и дачу в Крыму, несколько раз бывал за границей (Венецию он описывает в посланиях домой с поэтическим восторгом юноши!), хорошо знал Украину и неплохо – Кавказ, в Москве за один день мог встретиться с сотней людей и при этом писал, писал, как каторжный, не позволяя себе расслабиться и почивать на лаврах, которых, кстати, уже при жизни имел предостаточно.

Нужно при этом не забывать, что жизнь Чехова была коротка и что в двадцать с небольшим лет у него обнаружили первые признаки чахотки, которая сжигала его неуклонно и симптомы которой он сам же констатировал как врач. И до последнего дня ухаживал за родным братом Николаем, художником, скончавшимся от туберкулеза практически на руках Антона Павловича в 1889 году. И как он казнил себя за то, что на один день позволил себе отлучиться от больного Николая, разрешил себе краткий отдых!

Или вот маленький штрих. Середина девяностых годов. Россия в очередной раз поругалась с Англией из-за Ближнего Востока. В воздухе висит предчувствие войны. Смертельно больной Чехов коротко пишет А. С. Суворину: «Если весной война, то я пойду. В последние 11/2–2 года в моей личной жизни было столько всякого рода происшествий (на днях даже пожар был в доме), что мне ничего не остается, как ехать на войну, на манер Вронского – только, конечно, не сражаться, а лечить». С иронией – но и всерьез!

И это «полужизнь»? Да эта жизнь сопоставима с пушкинской! Именно с Пушкиным Чехов, будучи не похожим ни на кого, неуловимо имел больше всего общего – и в судьбе, и в литературе.

Сам Чехов, в котором не было и тени барства, подобные отзывы о себе принимал по-барски равнодушно. Здесь он был «господином», прекрасно знавшим себе цену и не опускавшимся до брани с критиками.

О них он как-то убийственно написал, что это «добровольные мученики», которые ходят среди толпы по улицам и кричат: «Сапожник Сидоров делает сапоги плохо!», «Столяр Иванов делает стулья хорошо!» – как будто стулья и сапоги от этого станут хуже или лучше. Но однажды и он не выдержал, взорвался.

В журнале «Русская мысль», с которым Чехов сотрудничал, некий аноним назвал его «беспринципным» писателем. В письме к издателю журнала В. М. Лаврову Чехов ответил жестко: «На критику обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете... Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был... Обвинение Ваше – клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубить топором... Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку... Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно...»

Впрочем, то, что при жизни высокие нравственные и гражданские достоинства личности Чехова разглядели не многие (среди них Суворин, Толстой, Горький, Бунин), само по себе не удивительно. Чехов всегда прятал себя за броней мягкой иронии (мягкая броня – противоречие, но не в случае Чехова), стыдился громких похвал и всячески избегал их. И не потому, что был скромен (обожал рестораны, шумные гулянки и, как он сам выражался, «роскошных женщин»), а потому, что хуже всего на свете боялся фальши, неправды.

Бунин вспоминает: «Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

– Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений!

Поблуднев, он встал и вышел...»

Что больше всего задело его? «Сумеречные настроения» или «гордость нашей литературы»? И то, и другое, конечно. Ложь и фальшь, эти родные сестры подлости.

При этом он вовсе не был чужд гордости, но совсем иного рода. Гордился своей медицинской практикой и как-то не без самохвальства написал в письме (кажется, Суворину), что сумел бы спасти от смерти князя Андрея Болконского, которого, судя по описаниям Толстого, лечили скверно, потому что медицина тогда была плохой. (Ирония судьбы: нынешние медики, конечно, вылечили бы Чехова.) А с какой нескрываемой гордостью писал он о своей сахалинской поездке! «Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации... Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд...» Да, это гордость!

Не зная, не понимая личности Чехова, очень трудно пробиться к истинному смыслу его прозы и драматургии. Причем это тот случай, когда ларчик открывается именно удивительно просто, но многие почему-то ищут к нему каких-то особых, каких-то невероятно сложных отмычек. Загадка Чехова – в простоте и отсутствии всякой фальши. В нем же ищут «вариативности», «многосмысленности», каких-то «тайных подтекстов». Чехов современен не потому, что «вариативен» (любимое словечко эпохи постмодернизма и крушения традиционных ценностей), а потому, что прост в наивысшем смысле слова, как Пушкин, родившийся в восемнадцатом веке, но оставшийся современным и в двадцать первом, в отличие от «сложных», например Вяземского или Одоевского.

Так же и с Чеховым. Более молодые его современники – Горький или Леонид Андреев, куда точнее соответствовавшие своей «пестрой», «вариативной» эпохе, – во многом устарели; у Чехова же, как и у Пушкина, нет ни одной устаревшей строчки. Всё потому, что он описывал человека как человека, а не как Человека (Горький), не как «Некто в сером» (Андреев).

Он как-то вроде бы ошибся в одном письме, сказав, что в России не будет никакой революции, что всё в ней будет происходить по-прежнему.

Была революция, был ГУЛАГ, была страшная мировая война. И было искушение искусства и литературы, решивших, что этот опыт нельзя отразить обычными художественными средствами, что сам человек изменился настолько, что он уже не человек вовсе, но некая «экзистенциальная сущность», продукт мирового Абсурда. И Чехова пытались подвергать под эти понятия. И его посмертно нарекли писателем,

который делает «творчество из ничего». Так называлась статья о Чехове русского мыслителя Льва Шестова, которая, при всей философской глубокомысленности и религиозной начинке, начиналась поразительно кощунственными словами: «Человек умер – теперь о нем свободно можно говорить». Чехов, будь жив, несомненно, поперхнулся бы, услышав такую фразу.

Это был уже второй миф о Чехове после его «безыдейности» и «беспринципности».

Откройте хотя бы его любимый рассказ «Студент», где все люди от апостола Петра до студента духовной академии конца девятнадцатого века и двух простолоудинок, готовящих похлебку на костре, вдруг соединяются в непрерывное звено простого человеческого понимания. Да, в мире может быть холодно, может быть страшно. Но именно для этого и создан человек, чтобы согреть этот холод, чтобы озарить эту тьму Божественной искрой. Этой искрой может быть поездка на Сахалин, может быть гениальная проза, но ею могут быть и простые слова студента, утешившего двух вдов рассказом о страданиях Петра. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!» «Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого».

Чехов понял это лучше всех писателей XX века. Непрерывность событий. Их ровный и постоянный смысл. Тяга трех сестер «в Москву! в Москву!» ничем не отличается от наплыва в Москву армады современных «понаехавших», если смотреть на нее не как на толпу, а брать человека в своей единичной неповторимости. Смешная и драматичная дуэль фон Корена и Лаевского («Дуэль») ничем не выше разборок каких-нибудь современных «новых русских»: и там и там гордыня, неуважение к чужому достоинству и, как неизбежность, нравственное поражение. Дочери, бросающие спивающихся отцов и маленьких братьев и сестер («Анна на шее») ради легкой, шикарной жизни, всегда современны и... отвратительны. Всегда будут Дымовы и всегда «попрыгуньи». И всегда всё это будет бессмысленно, ибо связано неразрывной цепочкой со всей великой мировой историей, в которой Чехов чувствовал себя не рабом и не господином, но свободным гражданином. Доктором. Писателем.

Наконец, просто порядочным человеком.